

Мария Майофис

(Амхерст-Колледж)

Пять фрагментов о С.Л.К.

1

Начало сентября 1993 года. Нам, только что поступившим в университет первокурсникам историко-филологического факультета (мы были его вторым набором), предложено прослушать целую серию лекций в рамках «ориентационной недели». Поскольку всем слушателям предстоит выбрать в ближайшие дни страну специализации, то профессора, занимающиеся культурами этих стран, прочитают нам по одной вводной лекции, которая, как предполагается, поможет нам принять взвешенное решение. Честно говоря, я не запомнила ни одной лекции из тех, которые нам тогда прочитали, кроме одной. Эта лекция была посвящена культуре Франции, и читал ее Сергей Леонидович Козлов (далее — С.Л. или С.Л.К.).

Козлов начал лекцию со знаменитого стихотворения Владислава Ходасевича «Я родился в Москве...» (1923) и попросил нас угадать, что за «восемь томиков» Ходасевич (точнее, его лирический герой) увозил в эмиграцию. Мы, конечно же, угадали. Потом С.Л. предложил нам представить себе немецкого или британского эмигранта — смог ли бы он увезти свою родину в каком-то компактном собрании сочинений? Мы назвали Гёте и Шекспира. «А вот с эмигрантом французским, — сказал С.Л., — ничего подобного бы не вышло. Он затруднился бы сказать, к какой фигуре в литературе можно было бы свести всю Францию». На этой идее «несводимости» и разновекторности французской культуры С.Л. построил всю свою вступительную лекцию. Желавших выбрать французскую специализацию сильно прибавилось. Но главное, с этого момента многие из нас решили, что будут стараться как можно чаще попадать на лекции С.Л.

В этом эпизоде отразилось ключевое качество С.Л.-филолога — и в его преподавательской, и в исследовательской и переводческой ипостасях: напряженное внимание не только к тому, что говорится и пишется, но и к тому как. Здесь равно важными оказывались и логическая конструкция, и риторика, и стиль.

С.Л. обладал уникальной способностью — намеренно не называю ее даром, потому что она была результатом его упорной систематической работы над собой, — легко, понятно и доступно формулировать ключевые особенности того явления и проблемы, которые он хотел сделать видимыми и понятными своим слушателям и читателям. Чаще всего такому формулированию предшествовала кропотливая работа и с первичными источниками, и с научными трудами, этим источникам посвященными. Потом начинался процесс, который я назвала бы интеллектуальной дистилляцией: благодаря какой-то особой «перегонке», которую только С.Л. умел осуществлять, разрозненные факты и разнородные концепции вдруг почти магическим образом не просто складывались в интеллигибельную схему, но начинали выглядеть в глазах слушателей и читателей закономерными, непротиворечивыми и как будто естественным образом вытекающими из того, что этот читатель/слушатель раньше слышал, читал или знал.

Очень хорошо помню лекцию С.Л. о том, как в романтическую эпоху (прежде всего в раннем немецком романтизме) ученики часто «уводили» жен и возлюбленных у учителей или, по крайней мере, сильно осложняли жизнь всем окружающим — влюбленностью и привязанностью к этим женщинам. Через анализ этих эпизодов С.Л. дал нам возможность увидеть ключевые черты романтической культуры и ее влияние на микросоциальные отношения. Он сразу же убедил нас в том, что эпизоды этих любовных увлечений относятся не только к истории частной жизни, но являются частью истории литературы и что они были естественным следствием развития модели отношений «учитель — ученик».

Если память мне не изменяет, он не использовал тогда понятие миметического желания и легко обошелся тем концептуальным аппаратом, который и нам, третьекурсникам, был уже доступен.

Еще один важный аспект внимания С.Л. к интеллигибельности и увлекательности собственного высказывания: для Козлова во всем, что он делал как преподаватель, популяризатор и оригинальный исследователь, был особенно важен интеллектуальный сюжет. Проще всего было бы построить такой сюжет в самом простом его воплощении: «детективного расследования» загадки, сформулированной в начале рассказа. Тут была возможность ориентироваться на самые разные образцы: от Ираклия Андроникова или Юрия Лотмана до Умберто Эко или Карло Гинзбурга.

Многие лекции из первого прослушанного мною осенью 1993 года курса в исполнении С.Л. — «Русская классика в западноевропейских параллелях» — часто следовали этой модели. Но дальше, по моим воспоминаниям, он использовал ее все реже и реже. А значит, как преподаватель и истолкователь ставил себе гораздо более амбициозные задачи, ведь без детективного драйвера построить интеллектуальный сюжет что лекции, что статьи гораздо сложнее. Это означает, что идея или концепция, положенная в основу лекции, должна быть достаточно яркой, оригинальной и запоминающейся, чтобы захватить слушателя или читателя самым своим содержанием, специфическим интеллектуальным поворотом, теми словами и образами, с помощью которых формулировался вопрос и выдвигались версии возможных ответов.

В текстах С.Л. — устных и письменных — необыкновенно притягательной была сама возможность быстрого и в то же время обоснованного перехода от драматических человеческих судеб к общим закономерностям развития культуры. Эти переходы обнажали своеобразную «трехуровневую схему», на которой были основан и его историко-филологический анализ, и возникавшие по его итогам нарративы. Та же схема-модель лежит и в основе позднейших статей С.Л. по истории литературы, интеллектуальной истории и истории науки (включая и выдающуюся монографию «Имплантация»). Попробую коротко эту модель описать.

Для С.Л. история культуры и гуманитарных и социальных наук была историей живых людей с их специфическими деталями биографии, эмоциями и реакциями, привязанностями и фобиями (вспомним, как много об этом он говорит, реконструируя семантику метафоры поезда у Макса Вебера¹). Этот «человеческий фактор» требует от исследователя не только внимательного чтения

1 Козлов С.Л. Крушение поезда: транспортная метафорика Макса Вебера // Новое литературное обозрение. 2005. № 71. С. 7—60.

и комментария текстов. Необходимо предпринять специальное усилие, которое помогло бы представить себе того или иного автора не как «окаменевшую величину», а как живого человека с собственным чувством пути, со свойственными ему ошибками, абберациями восприятия и памяти и в то же время — и это было всегда для С.Л. залогом будущего понимания — со своими социальными и интеллектуальными идеалами.

Но С.Л. в то же время показывал, как быстро и необратимо этот персональный опыт обрастает культурным наростом, вписывается в существующие имажинарии и силовые поля культуры, а потом — как он, уже став социальным, вступает в диалог с другими существующими в культуре версиями и концепциями.

Но за двумя этими уровнями был и третий, демонстрировавший интеллектуальную и дисциплинарную генеалогию С.Л. или, точнее, его филологический бэкграунд. Для него всегда было важно, если не сказать — неотменимо важно, что и тот, и другой уровни будут оставлять следы в текстах и изображениях, — и вот здесь и начиналась для него «наша работа».

2

Проект, который С.Л. последовательно реализовывал на страницах НЛО с первого же номера 1992 года и по меньшей мере до своего ухода с поста руководителя отдела теории в начале 2002-го, лучше всего описывается термином, который сам С.Л. позже использовал для описания реалий другой страны и другой эпохи — *имплантация*². Его монографию 2020 года, которая так и названа³, — нужно и важно прочесть как исследование, написанное из позиции многолетнего личного опыта разработки стратегий интеллектуальной имплантации и их смелого осуществления. Если помнить о том, чем планомерно занимался С.Л. с начала 1990-х годов, выбор им темы для монографии (если судить по предисловию, он начал работать над ней немедленно после того, как закончил работу в НЛО) был далеко не случайным. Ему явно интересно было рассмотреть и описать предшествующий опыт трудных, но успешных имплантаций в гуманитарных науках.

Сам С.Л. определит имплантацию как «опыт внедрения новой культурной практики в совершенно враждебную этой практике социокультурную среду»⁴. Слова о враждебности применительно к Франции второй половины XIX века не гипербола, так же как они не были гиперболой применительно к России начала 1990-х. Если перечитать вступительные заметки к составленным С.Л. для НЛО подборкам теоретических материалов, видно, что именно так он и оценивал ситуацию в российских гуманитарных науках (и особенно — в филологии) 1990-х годов. «...При скудости и изношенности набора категорий, принятых

-
- 2 Термин «имплантация» имеет в русском языке два значения — медицинское и материаловедческое: 1) хирургическая операция по вживлению в организм чуждых ему структур и материалов; 2) способ введения посторонних атомов внутрь твердого тела путем бомбардировки его поверхности пучком ионов с высокой энергией. Для Козлова, по-видимому, важны были оба эти значения.
 - 3 Козлов С.Л. Имплантация: очерки генеалогии историко-филологического знания во Франции. М.: Новое литературное обозрение, 2020.
 - 4 Там же. С. 11.

в нашем литературоведении, глупо было бы пренебрегать еще не использованными ресурсами привычной парадигмы», — пишет он о перспективах использования теоретических находок Майкла Риффатера, позволявших расширить представления о методологии структурализма⁵. «Апологетические усилия одиночек остаются неавторитетными и маргинальными», — это о тщетных попытках познакомить российских филологов с концепциями деконструктивистов⁶. В 1999 году, представляя читателю — в рамках раздела «Репрезентация власти» — один из первых русских переводов Карла Шмитта, Козлов будет вынужден разместить специальное предупреждение, основанное на грустных наблюдениях за изменениями общественных настроений: «К сожалению, сегодняшнее состояние умов в России таково, что и журнал, рассчитанный на высокообразованную аудиторию, должен призывать своих читателей к столь простым вещам, как интеллектуальная трезвость, ответственность и способность к различениям»⁷.

Задуманный С.Л. в начале 1990-х и поддержанный редакцией НЛО проект имплантации заключался в идее перенести на отечественную почву самые интересные и перспективные образцы западноевропейской и североамериканской теории (не только литературной, но и теории культуры)⁸. Перенос, или трансфер, как объяснял С.Л. в предисловии к «Имплантации», — это не просто импорт и даже не просто перевод, но

процесс, основанный не на пассивной, а на активной роли импортера-реципиента, сознательно выбирающего и транслирующего те или иные элементы чужой культуры... это процесс, обусловленный не пассивным претерпеванием чужого влияния, а прежде всего собственными проблемами импортера-реципиента, теми или иными особенностями импортирующей среды, которые осмысляются самой этой культурой как недостатки, нуждающиеся в преодолении и восполнении⁹.

С.Л. с самого начала воплощения своего проекта осознавал себя в роли активного *агента имплантации*. И поэтому при осуществлении своей культурной работы он будет постоянно сопровождать свои действия обоснованиями для выбора импортируемых объектов. Разъясняя, почему именно эти, а не другие заимствования сейчас необходимы, он непременно коснется и вопроса о том, какие недостатки (или дефициты) отечественной науки и интеллектуальной среды делают те или иные акты имплантации насущными. Думая об обосновании, он не потеряет из вида и другой важный аспект имплантации (или трансфера). Понимая, что бесперспективно заниматься имплантацией того,

-
- 5 Козлов С.Л. Майкл Риффатер как теоретик литературы // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. С. 20. В № 1 НЛО С.Л. использовал написание «Риффатерр», в дальнейшем в русских переводах установилась транслитерация «Риффатер», которой следую и я.
 - 6 Козлов С.Л. Де Ман / Риффатер: полемика в контексте биографии // Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 25.
 - 7 Козлов С.Л. От редактора: [Вступительная заметка к блоку материалов «Репрезентация власти»] // Новое литературное обозрение. 1999. № 38. С. 36.
 - 8 Сам этот концепт был, по-видимому, придуман и интериоризирован Козловым еще в пору его работы в НЛО. См.: «При имплантации на российскую почву практически всякий западный конструкт меняет функцию» (Козлов С.Л. Наши «новые истористы»: Заметки об одной тенденции // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 124).
 - 9 Козлов С.Л. Имплантация. С. 16.

что будет воспринято как совершенно чуждое и враждебное, он всякий раз пытался, прежде чем производить перенос, хотя бы немного «одомашнить» переносимый объект или, во всяком случае, показать, что он не вполне чужд домашнему контексту.

Эта деятельность С.Л. для меня в каком-то смысле аналогична строительству большого моста: одна опора вслед за другой, пролет за пролетом, пока мост не наводится между двумя точками, которые нужно соединить. Сам С.Л., говоря в 2000 году об этом опыте 1990-х, воспользуется метафорой проекта «Союз — Аполлон»: «Как известно, главной проблемой тогда была проблема стыковочного узла и переходного отсека»¹⁰. В качестве потенциального собеседника и читателя Козлов представлял, по-видимому, гуманитария своего или более старшего поколения, для которого высшим достижением отечественной гуманитарной науки — и одновременно плато, на котором этот читатель-ученый предполагал продолжать экстенсивно разрабатывать новый материал, — выступала тартуско-московская структурно-семиотическая парадигма. Отсюда и нужно было строить очередной пролет или стыковочный блок.

В таком мысленном — и иногда совсем не благожелательном! — диалоге с воображаемым читателем С.Л. выстраивал свои вступительные заметки первых лет, показывая, с одной стороны, за какие элементы наследия советской семиотики можно «зацепиться», чтобы развивать научные исследования дальше, а с другой — неумолимо критикуя своих коллег за узость кругозора, консерватизм, недостаточность методологической рефлексии. Так, в самой первой заметке о Майкле Риффатере С.Л., представив своего героя и показав его типологическое родство с исследовательскими профилями Х.Р. Яусса, Умберто Эко и Ю.М. Лотмана, находит гораздо более сильную и убедительную аналогию — работы Р.О. Якобсона. Обосновав эту параллель, С.Л. заключает: «Тем самым уже ясно очерчиваются контуры научной позиции Риффатера — и становится понятна ее глубокая совместимость с русской филологией»¹¹. Глубокая совместимость — одно из неперенных условий удачной имплантации. Мост возведен, последний пролет достроен — теперь дело за теми, кому предстоит по этому мосту ездить.

Другую стратегию выбирает С.Л., представляя читателям уже в следующем номере журнала Поля де Мана. Поскольку никаких авторитетных методологических аналогов деконструкции в отечественной традиции найти нельзя, он задает неожиданную перспективу: прочесть работы Поля де Мана в свете его сложной профессиональной и личной биографии, где эпизоды семейных драм соседствуют с эпизодами коллаборационизма времен войны и с конфликтами и разобращениями послевоенной эпохи. «Главные компоненты жизненного опыта Поля де Мана: катастрофичность, маргинализованность, неразрешимое сочетание невинности и вины, перманентная фрустрация, непреодолимое одиночество»¹². Более того, С.Л. осторожно намекает, что, может быть, этот опыт не так уж чужд и непонятен для его аудитории, ведь «русскому читателю чуть легче дается осмысление подобных неожиданностей в силу богатого

10 Козлов С.Л. На rendez-vous с «новым историзмом» // Новое литературное обозрение. 2000. № 42. С. 5.

11 Козлов С.Л. Майкл Риффатер как теоретик литературы. С. 19.

12 Козлов С.Л. Де Ман / Риффатер: полемика в контексте биографии. С. 27.

исторического опыта русской интеллигенции XX века»¹³. В качестве ключевого текста, иллюстрирующего метод де Мана, Козлов предлагает его статью о Майкле Риффатере — неизвестное подается через уже объясненное, второй пролет строится вслед за первым.

В статье, предвещающей публикацию «Уликовой парадигмы» Карло Гинзбурга, Козлов попытается смоделировать сразу несколько «стыковочных блоков». Как и в случае с Риффатером, он укажет на ближайший прецедент в истории отечественной гуманитарной науки — советского ученого, который оказал решающее влияние на формирование метода Гинзбурга. Это Владимир Пропп:

Можно сказать, что Пропп олицетворяет ту коллизию, которая оказывается одной из важнейших для исследовательского сознания Гинзбурга... Цель Гинзбурга состоит в том, чтобы интегрировать морфологический анализ в рамки исторической реконструкции, сделать изучение чисто формального сходства далеко отстоящих друг от друга феноменов — средством выявления глубоко скрытых исторических взаимосвязей, остающихся иначе недоступными¹⁴.

Далее Козлов обосновывает необходимость имплантации уликовой парадигмы Гинзбурга масштабной, точной и нелицеприятной диагностикой положения постсоветских гуманитарных наук. Он утверждает, что исследовательские сообщества в России объединены идеологией гиперсциентизма, который представляет собой соединение взаимно противоречащих элементов: «абстрактного логико-лингвистического моделирования» и «частных исторических разысканий» (иными словами, одновременно действующих установок на создание больших структурированных объяснительных моделей и на позитивистское накопление фактов). Второе неосознанное противоречие, которое, по Козлову, разъедает изнутри российские гуманитарные сообщества, — это сугубо враждебное отношение к любой «иррациональности» и «художественности» при высокой художественной одаренности тех авторов, которые наиболее последовательно отстаивают идею «чистой научности», не говоря уже об эстетической привлекательности самих их концепций (Козлов приводит в пример Ю.М. Лотмана и М.Л. Гаспарова). С.Л. описывает это напряжение через бейтсоновскую концепцию *double bind* и ставит неутешительный диагноз: «...все ранее описанное ведет если не к шизофрении, то к мистифицированности, расколотости, подавленности, неадекватности исследовательского самосознания...»¹⁵

То, что может показаться в подходе Гинзбурга знакомым и близким, согласно Козлову, очень далеко отстоит от современных российских гуманитарных практик. Чтобы суметь проехать по выстроенному мосту, нужно кардинальным образом изменить сам способ исследовательской работы, сам тип мышления в науке:

У подавляющего большинства теперешних русских исследователей, работающих *de facto* в рамках уликовой парадигмы, неременной основой и даже как бы условием такого стиля работы является предельная узость специализации и крутозора.

13 Там же. С. 26.

14 Козлов С.Л. Методологический манифест Карло Гинзбурга в трех контекстах // Новое литературное обозрение. 1994. № 8. С. 29.

15 Там же. С. 30.

Интерес к частностям коррелирует здесь с неспособностью к междисциплинарным переходам и широкомасштабным обобщениям. <...> Между тем для Гинзбурга вся ценность уликовой парадигмы в том и состоит, что предельно частное выводит не просто к другому частному, а к универсальной взаимосвязи явлений¹⁶.

В своей пессимистической диагностике С.Л. часто выходит за рамки науки в более широкую — общественную и политическую — сферу. При этом проблемы профессионального и интеллектуального самоопределения оказываются прямо сопряжены с социальным и политическим действием, фактически — чаемое самоопределение и является таким действием. Предваряя публикацию знаменитой статьи Клиффорда Гирца «Идеология как культурная система», С.Л. пишет о том, какими пагубными последствиями может обернуться нежелание современных гуманитариев иметь дело с феноменом идеологии. Заключительный абзац этой вступительной заметки читается сейчас как сбывшееся пророчество:

...отвращение к самому феномену идеологии не более оправдано, чем отвращение к каким-либо частям человеческого тела. Вопрос в конкретных формах идеологии, в противодействии их злокачественному развитию. Но для такого противодействия есть только один способ: собственная активность. Активность в изучении идеологий. Активность в выработке идеологических программ: и общенациональных, и групповых. Общенациональных — потому что, если этим не займется вы, за вас займутся другие. Групповых — потому что отсутствие сильной групповой идеологии блокирует профессиональную деятельность. В нынешних условиях «страх идеологии» непродуктивен. <...> Человек умственного труда сталкивается сегодня в России с более сложной задачей, чем в советское время: от него требуется не однонаправленная, а дифференцированная активность¹⁷.

Рефлексивное, вдумчивое, контекстуализирующее усвоение лучшей западной теории XX века является для Козлова необходимой предпосылкой для преобразования не только поля гуманитарных наук, но и всей российской публичной сферы, а хорошее гуманитарное образование и широкие интересы — необходимым качеством политического аналитика (отсюда и тянется интерес к феномену интеллектуальной политической журналистики 1990-х, которой С.Л. посвятил как минимум одну статью¹⁸).

Для Козлова 1990-х и начала 2000-х политизация исследования не порок, а добродетель, и он досадует на то, что большинство его коллег по-прежнему боятся это делать. Сам он нередко предлагает смелые и в то же время политизирующие концепции явлений прошлого, которые — *mutatis mutandis* — можно было бы потом применить и к анализу явлений настоящего. Наиболее характерный пример — его статья 2009 года «Сообщество выскочки» (первые подступы к будущей «Имплантации»): здесь, говоря о французских реформах высшего образования периода Второй империи, он выходит на уровень более масштабных обобщений. Ключевые вопросы статьи: как общественное устройство может блокировать инновации и как можно преодолеть эту блокировку.

16 Там же. С. 31.

17 Козлов С.Л. К преодолению одной фобии: [Вступительная заметка к рубрике «Идеология литературы»] // Новое литературное обозрение. 1998. № 29. С. 6.

18 Козлов С.Л. Заметки о стиле Максима Соколова: На полях статьи О. Проскурина // Новое литературное обозрение. 2000. № 41. С. 305—313.

Отвечая на них, С.Л. показывает, что в этом случае для проведения реформ потребуются личные связи между администраторами разных уровней, позволяющие создать «обходные пути» для инновации. Но только этого недостаточно: Козлов обращает внимание на конstellляции случайных факторов, среди которых немаловажную роль играют «сильные идеальные мотивации» лиц, ответственных за принятие решений¹⁹. Теоретическая модель «институционального шунтирования», которую Козлов здесь описал, сперва разъяснена им на позднесоветском кейсе, а затем уже применена к французской образовательной политике XIX века. Явным образом ее можно было использовать и для постсоветского контекста.

Размышления Козлова об «открытости» и «закрытости» интеллектуальных сообществ и больших обществ начались гораздо раньше — в 1990-е, в связи с осмыслением поздних (конца 1980-х годов) работ Умберто Эко и их высокого политического потенциала. Этой публикации предшествовало еще одно событие — проведенный редакцией НЛО в 1995 году круглый стол на тему «Философия и филология». Здесь лицом к лицу сошлись самые видные представители тогдашнего филологического и философского сообществ²⁰. Круглый стол завершился выступлением А.Л. Зорина, который выразил сомнение в продуктивности механического перенесения западной теории в Россию без учета различий политических контекстов: «...импортировать западные интеллектуальные технологии в отрыве от системы общественных ценностей, их породивших, занятие, по-моему, малоперспективное»²¹. Гораздо более насущной, с его точки зрения, была для российских гуманитариев задача прояснения и формулировки ключевых проблем современности в связи со своим профессиональным самоопределением. Только после этого, по мнению Зорина, будет возможен продуктивный интеллектуальный трансфер: если «понять собственную судьбу, то и чужие тексты понимать будет как-то сподручнее»²².

Козлов несколько раз будет возвращаться в своих заметках второй половины 1990-х к этому выступлению Зорина, убежденно поддерживая императив «понять собственную судьбу», но не соглашаясь с идеей полной чужеродности западной теории российскому общественно-политическому и культурному контексту, который, по мнению С.Л., очень быстро начинал сближаться с общемировым. Один из ответов Зорину Козлов дает через год после знаменитого круглого стола, как раз в той самой заметке, посвященной Умберто Эко:

19 Козлов С.Л. Сообщество выскочек: «Субъективный фактор» реформы высшего образования во Франции эпохи Второй империи // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 583–606.

20 Насколько можно судить по этой публикации и общему интеллектуальному контексту середины 1990-х годов, идея редакции состояла в том, чтобы стимулировать диалог между тремя научными группами: филологами — защитниками «чистой науки» (будь то последователи московско-тартуского структурализма или историко-литературного архивного позитивизма, см. процитированный выше пассаж Козлова о «гиперсциентизме»), филологами, которые уже искали в тот момент пути, выходящие за пределы старого понимания научности, и авторами (в основном принадлежавшими к философскому цеху), пропагандировавшими в России «новую французскую теорию».

21 Философия филологии: круглый стол в редакции «Нового литературного обозрения» // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 91.

22 Там же.

...речь идет об использовании догоняющей цивилизацией опыта развитых обществ для обдуманного ответа на собственные проблемы, сегодняшние и завтрашние. Проблематика закрытости/открытости — это фундаментальная проблема нашего общества последних десятилетий вплоть до сего дня, и на макро-, и на микросоциальном уровне. Проблематика мультикультурализма сегодня еще может кому-то казаться экзотической, но завтра она станет нашей повседневностью. Понятие границы в связи с противопоставлением «цивилизация/варвары» слишком действительно присутствует в нашем злободневном обиходе²³, чтобы можно было начисто освободить сознание от этих категорий при обращении к материям более отвлеченным²⁴.

Из этой цитаты очевидно, что для Козлова — как, вероятно, и для Эко — существовала прямая связь между консерватизмом персональным (в том числе и реализуемым в рамках собственного профессионального кредо), общественным и политическим. В каком-то отношении С.Л. был культурным консерватором: он относился с особым вниманием к тому, как работает преемственность в науке и культуре и безо всякого восторга воспринимал идею политической революции (здесь сказывался глубоко пережитый им советский опыт). Свой неослабевавший интерес к проблемам преемственности С.Л. успел реализовать в своей поздней, последних лет жизни, статье об интеллектуальной биографии Э.Р. Курциуса и в планах статей и комментариев к текстам Э. Ауэрбаха²⁵. Но если понимать консерватизм как отказ принимать во внимание новейшие сдвиги в общественном сознании, как бы дискомфортно ни было их анализировать, то с такой установкой Козлов боролся на протяжении всей своей профессиональной жизни. Если использовать полюбившееся С.Л. и идущее от К. Поппера и У. Эко противопоставление открытости и закрытости, он был консерватором, чутко и открыто реагировавшим на современность.

Проблематика закрытости/открытости зазвучит пять лет спустя в подготовленном С.Л. разделе о наследии Ницше в современных гуманитарных науках. «Отношение к Ницше оказывается важнейшим индикатором, выявляющим главную линию разлома в современном русском филологическом сознании: это разлом на изоляционистов и сторонников открытости...»²⁶ Столь сильная интерпретация основана, по словам Козлова, на важнейшей особенности работ Ницше: вопросы, которые он задавал к филологическим исследованиям и к филологическому «цеху» своего времени, требовали — и тогда, и сегодня —

23 В контексте 1996 года, когда цитируемая статья готовилась к печати, эти строки читались как очевидный намек на первую чеченскую войну и общую кавказофобию российского общества.

24 Козлов С.Л. Умберто Эко в поисках границ // Новое литературное обозрение. 1996. № 21. С. 8.

25 В 2020 году вышел первый русский перевод работы Э.Р. Курциуса «Европейская литература и латинское средневековье», выполненный Дмитрием Колчигиным, — С.Л. написал к этой книге обширное предисловие. Как сообщил нам Дмитрий Колчигин, вскоре после выхода этой книги С.Л. обсуждал с ним возможность подготовки тома избранных статей Ауэрбаха (Д. Колчигин, частное сообщение). В итоге такая книга вышла в переводе Колчигина — к сожалению, без участия Козлова — в 2022 году под названием «Историческая топология» (М.: Языки славянской культуры).

26 Козлов С.Л. От редактора: [Вступительная заметка к блоку материалов, посвященных книге Ф. Ницше «Рождение трагедии»] // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 20.

постоянного пересмотра оснований филологического знания, его открытия навстречу другим дисциплинам и культурным практикам.

3

Суровые диагнозы Козлова — обратная сторона его перфекционизма и высокой требовательности к себе. Этот перфекционизм часто заставлял коллег воспитывать в себе стоическое терпение в отношении дедлайнов. Но то, что все-таки появлялось в печати — в виде статей и заметок, журнальных подборок и составленных им книг, — задавало недостижимые горизонты: и по степени эрудиции, и по эвристическому потенциалу концепций, и по их объяснительной силе. Высокая планка требований к себе задавала и горизонты в отношении к работе коллег. В статье, посвященной «новым истористам», он подводит итоги своим просветительским усилиям начала 1990-х, констатируя: то, что он считал потенциально перспективным «стыковочным блоком», не оправдало его ожиданий: риффатеровская семиотика поэзии и деконструкция в исполнении де Мана не привлекли серьезного внимания, и «результаты обоих этих экспериментов оказались плачевными — то есть никакими»²⁷.

К началу 2000-х годов Козлов подходит с осознанием кардинально изменившегося поля гуманитарных наук и с новой программой работ. Он лишь в небольшой части успевает реализовать ее на посту заведующего отделом теории: после того как С.Л. меняет в 2002 году свою траекторию с позиции редактора и «властителя дум» на позицию независимого исследователя, намеченные им задачи придется довершать другим (далеко не только на страницах НЛЮ и «Неприкосновенного запаса», но и в рамках других многочисленных публикационных проектов 2000-х, от «Критической массы» и «Отечественных записок» до «Синего дивана» и «Художественного журнала»). Программа его тем не менее до сих пор звучит очень актуально:

...на русском языке создана принципиально новая информационная среда, разрозненные деревья образовали лес, русские гуманитарии оказались в новой, гораздо более богатой и плодотворной интеллектуальной ситуации. Точнее говоря — не оказались, а лишь могут оказаться, если захотят. Чтобы возможность стала действительностью, необходимо новое усилие, новая трата сил и времени: книги переведенные должны быть прочитаны и публично обсуждены²⁸.

Новый лес, образовавшийся из разрозненных деревьев, начинает радовать его глаз: пессимистические диагнозы сменяются умеренно оптимистическими и даже удовлетворенными оценками текущего положения. В знаменитой статье 2001 года «Наши “новые истористы”» С.Л. пытается выявить общие предпосылки и общие характеристики трех недавних публикаций — монографий А.Л. Зорина и О.А. Проскурина и статьи-манифеста А.М. Эткинда, образующих, как назвал это С.Л., «новый гештальт». Все трое, по мнению Козлова, изучают литературный материал, но отказываются считать литературу самостоятельным предметом исследования, иначе говоря уходят от доминировав-

27 Козлов С.Л. Наши новые истористы. С. 5.

28 Козлов С.Л. От редактора: [Вступительная заметка к рубрике «Рецепция идей»] // Новое литературное обозрение. 2001. № 49. С. 8.

шего в 1970—1980-е годы спецификаторства²⁹ — сосредоточения прежде всего на имманентных качествах текстов при минимизации внимания к общественно-политическим и общекультурным процессам. Впрочем, как показывал Козлов, авторы тартуско-московской школы в своих наиболее новаторских работах тоже уходили от спецификаторства, которое было новаторским во времена формалистов, но к 1990-м привело к интеллектуальному изоляционизму.

Все трое авторов, как показывает Козлов, переворачивают установки западной критической теории, переключая внимание с «молчаливого большинства» — на творческую личность. Этот поворот С.Л. интерпретировал как своего рода гносеологическую реабилитацию интеллектуалов в их противостоянии агрессивной и запуганной массе — переживание этого противостояния было хорошо понятно тем, кто жил в советское время, знакомо оно и нашим современникам. Все трое обращают особое внимание на занимательность исследовательского нарратива, поскольку это один из способов вернуть отчуждающегося от истории читателя — обратно к истории.

Козлов завершает статью перефразированной и существенно измененной по смыслу цитатой из недавней (на тот момент) статьи Глеба Морева, и тут становится понятно, что его оптимистические выводы относятся не только к тем изменениям, которые произошли за 1990-е в российской гуманитарной науке, но и к тому, как эти изменения потенциально могут сказаться в общественной жизни и политике. Он говорит об ученых, которые «реализуя свои авторские (а в социальном ракурсе — властные) амбиции, стремятся к культивированию нового публичного пространства взамен привычного советского; к реисторизации общественного сознания; к построению новой связи между обществом и литературой»³⁰.

Спустя еще почти десять лет — в своей статье-манифесте «Осень филологии», а затем и в ответе на дискуссию по поводу этой статьи — С.Л. будет по-прежнему сохранять сдержанный оптимизм. Отвечая Борису Дубину, который и в 2011 году продолжал упрекать коллег-филологов в том, что они так и не прояснили свои «ценности» и «проблемные ситуации»³¹, С.Л. уверен, что все обстоит уже совсем иначе, чем в 1990-е: «...последние двадцать лет не прошли бесследно ни для кого. Социальное самосознание и социальные представления сегодняшнего русского филолога сильно отличаются от самосознания и представлений двадцатилетней давности»³². Методологически современных филологов отличают, по его мнению, «эпигонство и эклектизм», но обе эти характеристики нужно воспринимать скорее как нейтральные или даже позитивные. Эпигон означает просто «идущий вослед», а эклектика состоит в «умении выбрать из множества предзаданных подходов вариант, наиболее продуктивный в данном случае, или построить продуктивную для данного случая комбинацию из нескольких подходов»³³. В нарисованной им картине нет ни прорывов, ни провалов: это нормальное, рутинное (в куновском понимании) состояние науки. Однако для авторов начала 2010-х, которых упоминает в этой статье

29 Этот термин, как напоминал Козлов, был введен Б.М. Эйхенбаумом.

30 Козлов С.Л. Наши «новые историки»... С. 132.

31 Дубин Б.В. И снова о филологии // Новое литературное обозрение. 2011. № 110. С. 55.

32 Козлов С.Л. Приоритеты и менталитеты // Новое литературное обозрение. 2011. № 110. С. 90.

33 Козлов С.Л. Осень филологии // Новое литературное обозрение. 2011. № 110. С. 22.

С.Л., эта рутина творческая и живая и ничего общего не имеющая со стремлением вернуться к методологическому изоляционизму советской эпохи.

4

В своем отношении к жизни и работе сам С.Л. был, безусловно, человеком не рутины, а интеллектуального риска, или, как сказали бы сегодня, человеком стартапа. За его жизнь ему довелось поучаствовать как минимум в трех коллективных научно-образовательных институциях на этапе их формирования: на историко-филологическом факультете РГГУ, в журнале «НЛО» и в Школе филологии НИУ ВШЭ — и во всех трех он оставил заметный и запоминающийся след. Ему доставляло огромное удовольствие придумывать, имплементировать и заставлять работать те фрагменты институциональных конструкций (отделы журнала или отдельные курсы в рамках учебной программы), которые были ему доверены. Как только работа этих конструкций переходила в рутинную фазу, он явно терял к ней интерес.

С одним из последних (если не самым последним) проектом-стартапом С.Л. нам предстоит в самое ближайшее время познакомиться. Этот стартап не коллективный, а индивидуальный, но не менее амбициозный, чем предыдущие. Я имею в виду замысел большой интеллектуальной прозы, писать которую С.Л. начал незадолго до смерти и успел закончить несколько фрагментов и разработать планы следующих глав (см. первую публикацию текста на с. 000 этого номера). Эту прозу С.Л. посвятил осмыслению фигуры своего деда, Артура Сергеевича Тертеряна, работавшего в 1960—1970-е годы заместителем главного редактора «Литературной газеты». Фрагменты, которые С.Л. успел завершить, читаются буквально на одном дыхании: мы видим, как тонко и неожиданно соединяются здесь Козлов-стилист, много думавший о проблемах риторики и литературной формы, Козлов — историк литературы и гуманитарного знания и Козлов — оригинальный аналитик позднесоветской социальной и культурной психологии.

В сохранившемся тексте С.Л. несколько раз упоминает имена А. Кёстлера, Л.Я. Гинзбург и Чеслава Милоша как значимых для себя предшественников, работавших и с таким типом прозы и с таким типом проблематики, которую С.Л. описал как ответ на вопрос «о причинах, по которым люди добровольно отдают себя в рабство». В небольшой заметке, посвященной новейшему изданию прозы Л. Гинзбург, С.Л. писал в 2011 году:

Оказывается, что Гинзбург... подлинное свое призвание видела в создании романа в духе Пруста — романа, предполагающего сотворение особого мира. Оказывается, что на этом пути она достаточно далеко продвинулась. <...> Оказывается, что с этой точки зрения блокадная жизнь была для нее не величайшим несчастьем, а исключительным шансом, давшим ей небывалый опыт. И оказывается, что своей задачи она в конечном счете выполнить не смогла³⁴.

Козлов, очевидно, поставил перед собой аналогичную задачу — воссоздания с мельчайшими деталями и сразу же — с рефлексией по поводу этих деталей —

34 Козлов С.Л. Победа и поражение Лидии Гинзбург: [О книге: Гинзбург Л.Я. Проходящие характеры. М., 2011] // Новое литературное обозрение. 2012. № 114. С. 354.

позднесоветского литературного и околосовременного мира. Взяв в качестве героя деда, он, с одной стороны, сохранил возможность автобиографической перспективы, но с другой — сразу же дал себе шанс на критическую дистанцию, иронию, недоверие. По наброскам заметно: он очень хорошо понимал, что и как будет дальше писать и получал огромное удовольствие от самого процесса письма. Познакомившись недавно с этими сохранившимися фрагментами, я не переставая думаю: как много могла быть дана современной русской литературе эта проза, если бы она была завершена! В ней уже есть богатый материал и для историков литературы: невероятно интересно наблюдать, как переплетаются в первых главах не только Л.Я. Гинзбург и Ч. Милош, но и позднесоветская проза — подцензурная и неподцензурная — от Даниила Гранина до Андрея Битова и Юрия Давыдова.

Возвращаясь к тезисам, которые С.Л. формулировал в конце 1990-х и начале 2000-х годов — о необходимости через дискуссии в гуманитарных науках менять постепенно российскую публичную сферу, — я думаю о том, что в мрачной обстановке 2023-го и начала 2024-го он вдруг увидел возможность не дать этой публичной сфере сжаться и закапсулироваться, косвенно воздействуя на нее через аналитическое повествование о конце 1960-х и 1970-х. Никакой иносказательности, по-видимому, тут не предполагалось. Просто, размышляя вместе с рассказчиком о природе советских людей, «добровольно отдавших себя в рабство», читатель должен был уже самостоятельно начать размышлять о своей современности.

5

С.Л. многое успел сделать для развития отечественных гуманитарных наук. Для многих моих ровесников, начинавших свой путь в науке в 1990-е — и тех, кому довелось учиться у С.Л. в МГУ и РГГУ, и у тех, кто не знал его лично, — уже невозможно себе представить, какими бы мы сформировались, если бы в свое время не имели возможности прочитать то, что писал и готовил к печати С.Л.

Оценить масштаб и значение его работы со временем будет в каких-то отношениях легче: мы наконец догоним его в понимании незаполненных теоретических лакун и несформировавшихся интеллектуальных навыков — но в каких-то отношениях и труднее — те контексты, в которых рождались замыслы 1990-х — начала 2000-х годов, для нынешнего молодого поколения нуждаются уже в специальных пояснениях. И тем не менее многое из начатого С.Л. имеет смысл развивать и продолжать и сегодня, и завтра. Нужно только набраться решимости. Исторический оптимизм, как показала работа С.Л.К. в 1990-е, иногда приходит уже в процессе работы, а иногда — и много лет спустя после ее окончания.